

Ольга Сидельникова-Вербицкая

ПОД КРОВОМ ВСЕВЫШНЕГО

(Подлинная история)

Киноповесть

Париж
Санкт-Петербург
2021

ПРОЛОГ

В Париже была осень. Падали каштаны, тяжелые и блестящие, и листья этих могучих деревьев уже окрасились желтой каймой. Как во сне плыли вечные, знакомые всему человечеству места-символы: Вандомская колонна, Лувр, Тюильри... Торопливо бежала не замечающая времени Сена, и прямо к ней был развернут величественнейший вокзал в мире — музей современного искусства Орсей. Было в нем много воздуха, света, можно было подниматься все выше, бродить по длинным галереям, чтобы потом, никому не мешая, долго стоять возле остановившего тебя полотна или скульптуры. Можно сесть напротив, и тогда есть время для высокого, почти космического полета ассоциаций, чувств, фантазии...

Так вот взяла и остановила движение и время большая картина в простой раме, — распятая, как Христос, женщина, с изможденным телом и выпирающим животом. Пробиты гвоздями узкие ладони, упала на грудь голова, закрыли лицо спутанные волосы. Грубое и замученное тело, костлявое и бледное, только живот-полный и тяжелый живот, — женский. А вокруг Голгофы, задрав головы, стоит толпа крошечных безликих человечков, смотрят на огромное, как мираж, распятие... Картина оглушала беззвучным криком. От нее, казалось, еще выше, к небу поднимается крыша Орсея, выгибается куполом, наполняется низкими органами ак-

кордами... Вот такая картина — стой, смотри, думай. Много людей смотрит на картину, тихо переговариваются...

— А кто художник?

— Он здесь. Вон тот, с трубкой.

— С ним жена... Своеобразная внешность... Очаровательная.

Рыжеватый блондин с трубкой в зубах, лицо спокойное, глаза вприщур — что-то новгородское вспоминается.

— Простите, вы француз?

— Да. Но мои родители из Скандинавии.

— А мы из России. О чем ваша картина?

Он смотрит, улыбается. Его жена, очень худенькая, высокая и экстравагантная, в свободной одежде из черного тонкого бархата и в таком же берете, спрашивает по-русски:

— Вы из России?

— Да.

— Я русская... Мой папа и мама — русские. Но я совсем плохо умею по-русски...

— Нет, Вы неплохо говорите. Вы родились здесь?

— Я здесь... Я русская. Моя мама очень, очень плохой жизнь. Очень трудно...

Она тянет тонкую руку к распятой женщине.

— Это моя мама. Жан — Пьер хотел, чтобы все знали — мой папа и мама... Л'ямур.... Любовь... Имя мама — Катя... Это она.

1

Ползла, тянулась тяжелая длинная ночь над темными хатами, будто выбирала одну из всех для чего-то страшного, необъяснимого и непопра-

вимого. Но вот и выбрала, обрушила горе – горькое, и прямо в злую ее тьму закричал-заплакал детский голосок:

– Мамонька! Не уходи! Ой, мамонька!

Но деловитые, строгие голоса заглушили, смели эту жалобу. Важные дела совершались в ночи, не нужны и не чувствительны были для них детские слезы.

– Трогай...

– Так она же сомлела.

– Очухается... Трогай.

– Доча! За малыыми гляди!

– Ой, таточку!

Глухая черная ночь давила к земле человека и его жилье, но церковь была видна вся. На пригорке, над хатами шла она к небу светлеющим во тьме столбом. Тюкали по дороге подковы, жесткий голос взбадривал лошадей, и тянула она телегу с людьми в горку, к церковным дверям:

– Открывай! – забарабанила в дверь уверенная рука.

Парнишка с ружьем, светловолосый и большеглазый, смотрел, как вводят сутулого, понурившего голову мужика, а следом волоком волокут простоволосую некрупную бабенку. Суровый, перехваченный ремнем по куртке черного сукна, человек приткнул бабенку к стене, отряхнул руки.

– Чего рот раскрыл? Кулаков не видел? – Цыкнул он на Сашка. – Ружье подыми. Круг тебя, парень, ночью волки будут – не люди. И учти – за каждого ответишь. Утром по счету сдашь.

Он исподлобья оглядел пространство церкви. Тесно, сжато располагались на голом полу люди. Горбились узлы, а человеческие фигуры казались плоскими в неверном свете лампы. Такими же бесплотными, как изображения святых по стенам.

— Ишь, глазами, как полыхают, сожрали бы, кабы дотянулись, — убежденно сказал подпоясанный и шагнул за дверь.

Сашок наложил засов, заходил возле двери — пять шагов туда — пять обратно.

Вновь прибывшие копошились на полу — мужик и его жинка, она мотала на его плече простоволосой головой,

— Дети-то, дети как, а? — глухо спрашивала она. — Как же детки-то, а?

И вдруг вскочила, бросилась к Сашку, упала перед ним на колени.

— Трое маленьких, одни в избе... Пропадут... Пусти меня, солдатик, я хоть накажу им...

— Нельзя, — сказал Сашок. А женщина ползла ему под ноги.

— Пусти-и-и... Мы ж не виноватые... Нету у нас ничего... То муж брякал, що думав — вот и подвел нас усих под лихо. Пусти-и-и. Детки с голоду сгибнут.

— Детей ваших советская власть не оставит, — Сашок старался не смотреть, — а пустить — не могу. Нету у меня такого права.

Женщина поднялась, огляделась.

— Дак я вже умерла, — с тихой вдруг радостью сказала она, — глянь, святых сколько.

Чей-то бас объяснил из темноты:

— То, тетка, не царствие Божие, то церковь под тюрьму приспособили.

— Ни... То я померла... Ой, и рада ж я! Вот и кончились муки мои. Она провела рукой по голове,

— А платок где? Как же я к Богу с простой головой? Дайте платочек мне, родименькие.

Плохо соображая с горя, муж протянул ей платок, женщина подхватила его и пошла легкой, молодой походкой куда-то в темноту, за алтарь.

Сашек не стал смотреть – куда. Ружье наизготовку, и пять шагов туда – пять обратно.

За толстыми церковными стенами висела тяжелая долгая ночь, и, пережидая ее, тоскливо выли в селе собаки.

...А утром худенькая черноглазая девочка лет семи путалась под ногами собравшихся односельчан. Кто прогонял ее, кто подталкивал, давая пройти, На площади возле церкви было людское воющее месиво. По каменным стертым ступеням сводили и усаживали в телеги каких-то людей, голосили они – голосили по ним остающиеся. Девочка поднималась на цыпочки, продиралась через полы и юбки.

– Куда? Раздавят! – прикрикивали на нее.

– Я мамку с батькой шукаю! – испугалась девочка.

– Да разве они кулаки, твои батько с мамкой?

– Ни...

Но вот замахала рукой толстая, вся в слезах, баба.

– Иди, иди сюда, Катя! Вон твой батька!

– Тату! – мимо людей с ружьями кинулась Катя к телеге, ухватилась за нее. – Тату, а мамка где? Таточку, ты чего седой стал?

Сутулый мужик молча плакал, глядя на дочь.

– Мамка где? – повторяла Катя и шла рядом с тронувшейся уже телегой, на которой тесно, спинами друг к другу, сидели уезжавшие.

– Мамка наша, доча, ране меня уехала, – мужик сглотнул слезы, тебе наказала маленьких беречь. Голодные будете – идите милостыню просить. Ничего, то не стыдно. Только не помирайте.

Телегу дернуло, лошади побежали, Катя упала.

– Слышь, дочу! – крикнул ей отец. – Живите на свите долго!

Исчезли подводы среди огромного неохватного глазом простора, а в церкви лежал кто-то закрытый простыней.

Человек в куртке, подпоясанной ремнем, распекал Сашка:

— Куда смотрел? Часовой... Говорил, по счету сдашь!

Сашко моргал заплаканными глазами:

— Пойду, говорит, платком покроюсь, а потом к утру крик поднялся. Гляжу — она... висит.

Он шмыгнул носом, вытер рукавом глаза.

— Ладно, — оборвал суровый в куртке, — не кисни. Нам еще предстоит...

Моргая слипшимися от слез ресницами глядел Сашок, как солнечный луч, косой и видный глазу, как бывает в церкви, упал на небольшую, вытянутую под простыней фигуру. Угадывалась круглая аккуратная голова, сложенные на груди руки. Сухими бесслезными глазами глядели на мертвую святые со стен. Но не от их взгляда вздрогнул Сашок — в проеме двери стояла худенькая черноглазая девочка.

— Ты чья? — спросил Сашок, чтобы отвлечь ребенка от вида мертвого тела.

— Мамкина, — прошептала девочка и посмотрела на ружье.

— Цыть! — сердито крикнул подпоясанный, глянув из-под бровей, и девочка попятилась и исчезла, как будто ее никогда не было. Солнечный луч ушел из церкви, мертвая лежала на холодном затоптанном полу.

...Весна приходила одновременно в местечко и в село, потому что находились они совсем рядом. Когда-то между ними провели черту оседлости, но разве видна такая черта глазу? Когда было сытно — ходили друг к другу в гости. Когда становилось плохо — плакали и в селе, и в местечке. Тихое церковное пение, как весеннее облако проплывало над крышами тех и других хаток. А по улице местечка, испуганно крича, мчались

куры, всего две голодные тощие курицы, вместе с ними с выражением ужаса на длинном лице бежал человек в длиннополом сюртуке. Глаза его были мокры, волосы слиплись. Изредка он оглядывался и просил:

— Ой, Константин, ну давайте поговорим, как люди.

Длинный парень с маленькой головой топал сапожищами следом.

— Я тебе, жидовская морда, поговорю.

Еще дальше за ними спешили две женщины — седая и молодая, очень яркая брюнетка.

— Что ж будет, боже мой, — бормотала седая, — зачем он бежит, когда у него сердце плохое? Наум, не беги!

— Не волнуйтесь, мама, он уже перестал, — досадовала на обстановку дочь.

Действительно, отец ее уже лежал на дороге, вжимая голову в плечи, а Константин, махая костлявой рукой, дубасил его.

— Самогон обещал, курицу обещал... А где это усе? Убью!

— Ой, не бейте! — перехватила его руку старуха. — Мы ж не лучше людей живем, как все голодаем!

— Отойди, Рива, — закричал старик, — он тебя ударит нечаянно! Идите с Розой домой, очень прошу!

Парень тряхнул его.

— Самогона не достанешь — сожгу! И дочку твою... — он нехорошо засмеялся. Лицо было костистое, со скошенным подбородком.

— Достану, Константин, ей богу... Я быстро! А ты, Ривочка, отдай молодому человеку, что есть. Пусть курочек забирает, это последние курочки в местечке. Пусть скушает на доброе здоровье, а я — быстро.

Наум высвободился из лапиц Константина и засеменял по дороге в сторону села.

Церковное тихое пение, как весеннее облако, проплывало над крышами хат. Оно оплакивало чью-то погибель, может быть того, кто распят был за грехи людские и кто каждую весну, поправ смерть, воскресает из мертвых. Возле церкви стояла Катя, одетая не по росту, в сильно изношенной одежде, на голове был облезлый мужицкий треух. Сестренка, совсем маленькая, и братик чуть постарше были обвязаны большими платками, обуты в негодную развалившуюся обувь.

— Подайте, ради Христа, ради светлого праздничка, — тоненько запевала Катя и подталкивала младших. — Подайте, Христа ради, — тянули они в три голоска и три исхудавшие ладошки тянулись вперед. Какие-то старушки, немощные и озябшие, крестились, глядя на детей и только раз младшенькой Насте положили в ручку темный сухарик. Катя забрала его и бережно спрятала за пазуху.

— Есть хочу, — прогудел Степка.

— Вечером с кипятком, — сказала Катя строго, и снова три тонких голоска затянули, — ради светлого, Христова праздничка — подайте!

Мальчишка Катиных лет, но крепкий и справно одетый, пробегая мимо, толкнул Катю, дернул ее за треух.

— У, попрошайка!

Катя кинулась следом, дала мальчишке тумака.

— На тебе, Андрей-воробей!

И быть бы драке, но неподалеку, приближаясь, заиграла гармошка. Андрей-воробей свистнул в два пальца.

— Агит-бригада выступает, айда смотреть!

Младшенькие глянули на сестру.

— Нечего, — сказала Катя, — просите лучше, а то и сегодня нема будет чего кушать.

— У попа, у дьякона
Знать деньга припрятана.
Не работает, не пашет -
Целый день кадилом машет, -
Прокричал молодой голос, а другой подхватил:

— Поп кадилою кадит
И на милую глядит -
Господи, помилуй
Акулину милую...

— Что с вами делать, — вздохнула Катя, пошли послушаем.

Не бойко подходил народ послушать веселых комсомольцев. Голод в ту весну владел жителями этого края на правах хозяина и не давал им отвлекаться ни на что другое.

— С чего это вас разобрало? Или едите сладко? — крикнули агитаторам.

— Какое! — Ответил кто-то. — Глянь, у хлопца портки сваливаются.

Сашок испуганно схватился за пояс штанов, чем рассмешил пришедших послушать. Он откашлялся и сказал:

— Конечно, товарищи, нам сейчас трудно, но это трудности роста

— Э-эх, хлопчик, — усмехнулся худой и бледный старик, — растут-то с хлебушка, а его нет.

Катя с Настей на руках пробралась вперед.

— Товарищ Сталин говорит — затянем туже пояса и выдюжим, — голос Сашка звучал убежденно и торжественно, — назло всем капиталистам выдюжим.

Перед ним стояли худые бледные люди без возраста, голод сравнял старых и молодых, убежденность Сашка им была не к чему.

— Детки примрут, — равнодушно, без сожаления сказала какая-то баба, — мы-то что, а детки с голоду примрут.

Сашок обежал глазами собравшихся, — какие-то детишки, одетые в рванье не по росту, стояли прямо на виду, но тут он увидел вполне подходящего для его агитаторской работы мальчика.

— Я хоть и не здешний, — сказал он, — но вот другой раз к вам приезжаю и вижу, что детки ваши еще и озорничать не разучились, а вы, тетечка — примрут... Иди-ко сюда, хлопчик. — Он поманил строившего рожи Андрюху, поставил его подле себя.

— Гляньте, какой орел. Ты чей?

— У него батька счетовод, — угрюмо сказал худой старик.

— Значит, тоже колхозник, как вы все. А ну, спляши.

Но гармонист не успел растянуть мехи — в толпу, задыхаясь, вбежал Наум.

— Ой, и как же это можно, — закричал он, — как же это можно, чтоб при советской власти такой разбой был. Ведь уж грабят нас, товарищ комсомолец.

— Как грабят? — удивился Сашок. — Да вы-то кто?

— Это Наум-сапожник. Из местечка, — объяснил кто-то.

— Бегите скорее, прошу вас... Константин с утра в местечке шумит. Изничтожу, кажет, вы нашего Христа распяли. Бежимте, тут недалеко.

— Давай на лошади, — сказал Сашок гармонисту, — Быстрее. Он помог Науму взобраться на телегу.

— Дядечко, — кто-то тронул его за руку, — дядечко, подайте Христа ради. — Маленькая Настя тянула грязную ладошку, — хоть крошечку, дядечко.

— Ты чья? — нагнулся к ней Сашок.

— Катькина... Подайте, дядечко.

— Родители у них, хлопчик, раскулаченные, — объяснила бледная баба, — отец в Сибири, а мать с горя жизни себя лишила.

Катя схватила Настю на руки, быстро пошла прочь, Степка показал всем язык и побежал следом.

— Скорее, товарищ комсомолец, — Наум смотрел на Сашку плачущими глазами. Пожалуйста, быстрее!

Сашок стегнул лошадь.

— Вот оно как. — Сказал он хмуро, и было не понятно, к чему относились его слова.

Обратно в село они возвратились скоро, но уже вечерело, село выглядело пустым, неудобным. Константин валялся в телеге со связанными руками, мотал лохматой головой.

— Перебью, — рычал он, — Всех перебью!

Сашок устало и невесело поглядывал вокруг.

— Вези его, Гриня, в милицию, — сказал он гармонисту, — я попозже подойду.

Возле одной хатки стоял старик, глядел на Сашку из-под ладони.

— Где, отец, тут сироты живут? — спросил, подойдя, Сашок.

— Каки, сынок? — обрадовался разговору старик, — нынче сирот много...

— Девчонка такая, лет восьми... Сестренка у нее маленькая и братишка.

— То Катька Назаренкова, — понял дед. — Во — он хатка кособокенькая.

И еще что-то пытался он рассказать Сашку вслед, но тот махнул рукой. Мол, извини, дед. В другой раз.

На стук открыла Катя, не испугалась и даже не удивилась.

— Ноги вытирайте, — сказала сурово, — и, пригнувшись, Сашок шагнул за ней в хату.

В хате было холодно, хоть печь, видно, недавно протопили. Пахло дымом, но не теплым, уютным, а холодным и горьким. Стекла в окнах в основном отсутствовали, дыры кое-как заткнуты тряпками. За столом сидели Настя со Степкой, хлебали что-то горячее из мисок.

— Хлеб да соль, — улыбнулся им Сашок и положил на стол краюху хлеба, — а я вот со своим угощением.

— Нам Катька сухарь сварила, а я еще хочу, — сказал басом Степка.

Катя двинула его в спину.

— Сиди, молчи! Чаю будете? — она покосилась на хлеб.

— Давай! Только и сама сядь, хозяйка. Тебя Катей зовут, а меня Сашком, — он дул в кружку. — Я тоже без отца с матерью рос. Безпризорником был. А потом в комсомол вступил. Ух, хорош чаек!

Глаза у Кати были огромные, она смотрела на Сашку не отрываясь.

— Я, Катя, в хорошую жизнь верю, — подмигнул ей Сашок.

— Я тебя помню, — сказала Катя.

— Ну, да, — заторопился Сашок, — я ведь из района часто приезжаю.

— А ружье твое где?

— Надо будет — выдадут. Что ж вам никто из взрослых не помогает?

— Сперва боялись, а потом голод начался, — голос у Кати был спокойным и усталым. Взрослый голос.

Сашок посмотрел, — маленькая Настя дремала за столом, положив голову на тоненькие ручки, Степка жевал добавку от краюхи.

— Не дам я, Катя, вам пропасть, — сказал Сашок тихо. — Не дам. Честное слово.

...Лошадь он остановил напротив окон сапожника. Наум и Рива выскочили на крыльцо.

— Вот привез сестренку своих и братишку, — сказал Сашок.

Катя смотрела не улыбаясь, держа Настю на руках. Степка супился рядом.

— Ну, Боже мой, как мы рады вам! — закричал Наум. — Нам и обедать без вас не хочется, вот Рива скажет.

— Иди к тете, деточка, — поманила Настю Рива, — иди, не бойся.

Настя обняла ее за шею:

— А у тебя пряник есть?

— Поищем, деточка, — грустно пообещала Рива.

Катя отвернулась.

— Тут такое дело, — кашлянул Сашок, — Катя своим хозяйством хочет жить... На этих условиях переселиться согласилась.

Он подмигнул старикам.

— Так на доброе здоровьице, — закричал Наум. — Пусть поселятся в пристроечке. Ну, а покушать с нами, я думаю, барышня иногда не откажется.

— Ладно, — басом сказал Степка. — Покушать будем приходить.

Все засмеялись, и Катя улыбнулась тоже. Старики увели маленьких в хату. Остро пахла цветущая у дома сирень, и тоненький месяц бледно обозначился на светлом и прозрачном небе.

— Ну, Катя, я поехал, — вздохнул Сашок. — Оставайтесь, вам здесь хорошо, я думаю, будет. Старики добрые.

— Не скоро приедете? — спросила Катя.

— Постараюсь. Работы сейчас много.

Катя кивнула.

— Если что постирать надо будет — я умею.

Сашок погладил ее по голове:

– Договорились...

Так Катя осталась под опекой сапожника Наума и его жены Ривы в местечке. А Сашок продолжал свою отважную комсомольскую работу, недоедая и недосыпая во имя чего-то такого необыкновенно прекрасного, что и в мечтах казалось маловероятным. Голодная суровая действительность шла по стране победным шагом.

... И прошло-пробежало несколько лет. Серые облака, осенние и холодные закрывали небо. Старый Наум гремел на школьном крыльце колокольцем. Мимо него из дверей вылетали мальчишки и девчонки, кричали, бегали, боролись, радуясь свободе. Сторонясь всех, вышла Катя, худенькая и высокая, с мальчишеской стрижкой и девчоночьим нежным овалом лица. Мимо нее бежал Степка, размазывая под носом кровь.

– Кто это тебя? – спросила Катя.

– Андрюха, – буркнул Степка, – Он нечестно.

Катя не торопясь пошла по школьному двору, увидела парня, который, откусывая от краюхи хлеба, жевал сосредоточенно с аппетитом. Ростом парень был выше Кати, над губой чернели усики, Катя, проходя мимо, вдруг дала парню тумака.

– На тебе, Андрей-воробей!

Она подхватила оброненную от неожиданности краюху и бросилась бежать, – парень топал следом. Катя влетела по ступенькам, пронеслась школьным коридором и заперлась на щетку в пустом классе.

За дверью кричали, барабанили кулаками, а Катя смотрела невозмутимо в окно и ела хлеб. На школьном дворе длинный костлявый с маленькой головой мужик разговаривал с Наумом. Тот приседал, взволнованно вертел руками, Катя отряхнула крошки с платья, отперла дверь

класса. Вместе с ребятами вошла учительница — яркая брюнетка Роза Наумовна.

— Начнем урок, — сказала она и поджала полные губы, — а ты, Катя, пойдешь за дверь... Стыдно.

— Да нисколечко, — сказала Катя, скорчила Андрею страшную рожу и вышла, хлопнув дверью.

За школой, возле дровяного сарая, стояли Наум с Ривой. Увидев Катю, замолчали, посмотрели нее испуганно.

— Ой, боже, — догадался Наум, — опять ты, деточка, провинилась.

— Ты с кем разговаривал, дядечко? — Катя поставила полено, прицелилась топориком. — Кто это приходил?

Наум огорченно повесил голову.

— То Константин вернулся, — оглядываясь, зашептала тетя Рива, — и, похоже, что он совсем не исправился. Раньше от него покоя не было, но потом, слава Богу, он попал в тюрьму.

— Э-э, — поморщился Наум, — за такое, Рива, Бога не благодарят. Конечно, я не знаю, что делать, он велел сшить ему сапоги. Я ему говорю, что работаю теперь школьным сторожем, а он... в общем, всякие слова... Ой, да брось ты топор, Катя. Разве можно девушке колоть дрова?

— Можно, — Катя примерилась к полену, — Если что — я этому Константину вот так по башке! — И она шарахнула топором.

Старики охнула, а за их спиной кто-то захохотал. Катя увидела — Сашок, усталый и запыленный, щурит в улыбке глаза.

— Здравствуй, сестренка. Как ты тут?

— Да ничего, — небрежно сказала она, — что долго не бывали?

— Работа, — сказал Сашок, он пожал руку Науму, Риве. — Как Розочка поживает?

— Побегу стоговлю чего-нибудь вкусного, — заспешила тетя Рива.

— А мы с товарищем Сашком покурим, — Наум примостился на дровах.

— Какие там новости в городе?

— Зачем бандитов-то из тюрьмы выпускаете, умные головы? — ворчливо спросила Катя.

— Ничего, Катерина, не бойся, — Сашок, поморщившись, вытянул ноги в сапогах, вздохнул. — Хлеб нужен. Надежда на молодежь, для того и приехал...

Наум довольно затягивался, разглагольствовал:

— Нельзя сказать, чтобы товарищ Сталин ошибся, сказав, что можно затянуть пояса и немного подождать кушать! Но ведь, в конце концов, хлеб все-таки нужен. Я согласен.

Катя вдруг увидела, что степенная Роза Наумовна направляется в стоящую на отшибе школьную будочку-уборную.

— Я сейчас, — сказала она и словно провалилась сквозь землю. Наум и Сашок не обратили внимания — это была Катина особенность — то она есть, то вдруг исчезла.

... Роза плакала, всхлипывала, как маленькая,

— Что вы меня утешаете, папа, — говорила она, — я целый урок там просидела! Все ученики смеялись — учительницу в уборной заперли.

— Так то ж не горе, деточка, — успокаивал Наум растерянно, — это шутка...

— Вы не понимаете, папа, я авторитет потеряла! — Роза разрыдалась громче, и в саду был слышен ее плач.

Катя стояла под деревом, вжималась спиной в ствол.

— Так и будешь волчонком? — говорил ей Сашок. — Ведь за добро злом платишь. Ну, почему ты такая?

— Какая есть, — отрезала Катя.

Моросил дождь, Вышла на крылечко тетя Рива, попросила жалобно:

— Да идите вы в дом. Катечка, Сашок, — намокните.

— Повинись, — попросил Сашок. — Стариков жалко.

Катя дернула плечом, пошла в хату.

— Роза Наумовна! — громко сказала она с порога. — Простите меня. И вы, дядя Наум, и тетечка Рива,

Потом повернулась к Сашку:

— Вот так. Только в школу я больше не пойду. Работать буду. Этим и кончилось Катино детство. Началась ее рабочая жизнь.

...Специальность себе Катя выбрала давно, и для всех было очевидно, что это самое подходящее для ее характера занятие. И пришла весна, когда Катя, вся измазанная мазутом копалась в моторе трактора. Постукивала, крутила, вскакивала в кабину, пытаясь запустить мотор и снова, чертыхаясь, спрыгивала на землю.

— Ну, погоди, черт мослатый, — прямо по паханному она помчалась в сторону колхозной усадьбы.

Константин обедал на чистом воздухе, сидел на вязке бревен, жевал хлеб с салом. Катя с растрепанными волосами и измазанным лицом налетела на него.

— Ты чего, идол ленивый, с магнето сделал? А?

Константин, не переставая жевать, попытался лапнуть Катю.

— Замуж за меня выходи, — ухмыльнулся он, — не пожалеешь.

— А ну, пойдём! — Катя вцепилась ему в руку, потащила.

Сашок увидел эту пару из окна правления, вышел на крыльцо. Увидев его, Константин немного оробел.

— Вот, кажет, товарищ секретарь, будто я чегой-то с магнетом сделал. А я ничего и не делал.

— Вот! — сказала Катя торжествующе, — Сам признался! А должен был заменить... Я ж посреди поля встала!

— Чтоб через полчаса трактор работал, — приказал Сашок. — Ясно? Сам проверю.

Рядом с Катей он шел через луг. Безудержная щедрость переполняла природу — яркая зелень, яркое солнце, много света, воздуха. А Катя была уже девушкой, тонкой и крепкой, но все еще с угловатой мальчишеской хваткой.

— Ну, что, — спросил Сашок, — жизнь, Катюша, неплохая?

— Не жалуюсь, — Катя повела плечами.

— Книжки, что я дал, прочла?

Катя кивнула.

— Ну вот, потом обсудим... И еще вот что, Катерина. Я тебя в комсомол рекомендовал.

— Ой, — остановилась Катя, — я ж волноваться буду!

На комсомольском собрании она сидела прямая, как струнка, напряженная, взволнованная и по особому праздничная. Сашок из президиума видел Катины глаза. Обсудили предыдущую кандидатуру.

— Кто за — прошу поднять руку, — сказал председательствующий. Проголосовали, пожали руку парню Катиных лет. Когда он шел на свое место — Катя толкнула его шутливо в бок:

— Поздравляю, Андрей-воробей.

Следующей была она. Катя готовилась вскочить и идти туда, на яркий свет, чтобы встать лицом к народу, вся как есть на виду, Но что-то

произошло в президиуме, что-то шептал председательствующий, на чем-то настаивал Сашок.

— Вопрос о кандидатуре Кати Назаренко мы рассмотрим особо, — объявили из президиума.

Сашок сидел, опустив голову. У Кати перехватило горло, она взялась за него рукой.

— За что? — Она стояла, видная всем. — Почему особо? Что я сделала?

Ей не отвечали.

— А... — голос Кати стал старым, уставшим, — знаю... Из-за отца с матерью я вам не гожусь. — И, прежде чем хлопнуть дверью, она крикнула. — Да на что вы мне и сдались со своей комсомолией! Без вас проживу!

На улице было темно, но она сразу узнала того, кто больно схватил ее за руку.

— Что, ударница? Собралась в рай, да грехи не пускают? — Константин захохотал. От него пахло махорочным перегаром. — Не будешь нос задирать.

Катя вырвала руку и побежала, не разбирая дороги.

Поздно ночью она стукнула в темное окно.

— Откройте, дядечко, это я, — сказала она выглянувшему Науму. И, войдя в хату, заговорила быстро, невнятно, как в бреду:

— Тетя Рива спит? Ну и ладно, не будите... А Роза где?

Наум зажег свет, смотрел на Катю жалостливо.

— Катя, деточка, — сказал он, — как я жалею тебя. Как жалею!

— А не надо, — Катя поставила на стол бутылку. — Вот, гулять будем. Давайте стаканы. А вот это, — она начала выкладывать из сумки огурцы,

помидоры, яблоки, — это нам на закуску. Это я все наворовала, дядечко. В колхозном саду наворовала.

— Ой, — вскричал Наум, — Рива, проснись! Иди сюда, ты сейчас огорчишься!

Катя разлила водку по стаканам, сунула один Науму, другой ничего не понимающей сонной тете Риве и, чокнувшись, выпила до дна.

— Посошок, — сказала она, — прощаться пришла. Кроме вас у меня никого.

— Как прощаться? — охнула тетя Рива, — Куда? А Степочка? А Настя?

— Не пропадут, — отрезала Катя.

— А что мы товарищу Сашку скажем? — чуть не плакал старый Наум.

— Скажите ему, что Катька уехала, куда Макар телят не гонял. Слышала я, будто батьку моего туда свезли пановать.

Она вылила себе оставшуюся водку.

— Пожелайте мне...

Горестные, плохо соображающие старики с трудом одолевали налитое им.

Наум выскочил за Катей на крыльцо.

— Это тебе на дорогу, возьми, деточка. Мы с Ривой немного накопили, но зачем нам?

...В холодном, как лед, вагончике у Кати заоченели руки и ноги, застыл бок. Зато голова пылала, была тяжелой, мутной. Она вяло, как от мухи в жару, отмахивалась от назойливого молодого мужика.

— Так ты, девушка, не с под Ростова? Говорят, там к воровству народ дюже способный, — он оглядывался на соседей, приглашая посмеяться,

едко дымил сигаркой. — А вот скажи нам, кто способней, — мужики или бабы?

Катя приоткрыла глаза, за окном мчался лес и желтая луна над ним. Снег еще не весь сошел, было видно, что морозит. От вида могучих северных елей, мрачных, мохнатых, достигающих верхушками до четких холодных звезд, ей стало совсем зябко. Она съежилась, как могла. На скамейке было тесно, от дыма болела голова.

— Не..., — нахальный мужик наваливался на Катю, юлил рукой за ее спиной, — не..., жуликом только мужик может быть, потому что жулику смекалка нужна, проворство...

Старуха, сидящая напротив, схватила парня за руку, оторвала от Кати.

— Ты, никак, ей в карман прицелился, проворный. А ну, ступай на мое место. Не видишь — озноб у ней.

Она села рядом с Катей, прикрыла ее клетчатым платком.

— Далёко едешь?

— До Алыгбы, — хрипло сказала Катя.

— К родным, что ль? — допытывалась старуха.

Катя покачала головой.

— Мне потом еще в сторону двадцать километров.

— Туда, девка, под конвоем везут, — захохотал мужик, — а ты, ишь, добровольно. Небось, вертухай знакомый завелся?

Старуха потрогала Катин лоб.

— Горюшь... В Алыгбе сойдем — у меня переночуешь.

В избе из толстых бревен гудела, нагреваясь, печь, горели и пахли смолистые дрова, Катя сидела у огня в валенках, пила горячий чай.

— Да я еще не такая и бабка, — рассказывала хозяйка, стеля за печкой постель, — пятьдесят мне. Так жизнь сложилась, не за кем было молодеть.

Сверху шубой тебя укурю, пропотеть тебе надо. Что значит южанка — сразу и прихватило. И понесло тебя.... Охота или неволя? Тут ведь много от вас с Украины везли. Везли и вез-ли-и-и, и с бабами, и с детьми малы-ми. Так-то вот в лесу высадят и все. Кулаки... Чтоб, значит, колхозам не вредили — их сюда. А у нас до июня мороз, а там — комар. Были люди — остались могилки.

— Все поумирали? — с трудом выговорила Катя.

— Кто знает... А только много, это уж так.

— А чернявого такого, только чуб белый, не видели? — Катя показала, как ходил отец. — Немного согнутый и усы. Не встречался?

— Чубы тут, девонька, у всех побелели, и головы они все к земле гнули. Не на праздник ведь привезли. Не вспомню я твоего кровного, не знаю.

Ночью Катя металась под тяжелой шубой, ей казалось, что стучат в окно. Она знала, что там, на холоде стоит ее отец, и он просится в тепло.

— Открой моему батьке, тетенька, — стонала Катя, — он замерзнет! Пусты его, Христа ради.

А стук повторялся снова, и Катя плакала от бессилия и горя,

— Ой, батько, мой батько...

Проснувшись она утром, В избе никого не было. За окном громко, злобно лаяли собаки и кто-то кричал. Катя отодвинула занавеску — и без памяти выскочила на крыльцо. По дороге мимо дома люди с карабинами вели человека в рваной одежде, дальше, на поводках, шли большие, похожие на волков, собаки, они рвались и рычали. У арестанта были окровавлены руки, он вздрагивал и оглядывался. Вдоль дороги стояли люди, смотрели. Катя подбежала ближе, взгляделась в искаженное мукой и болью лицо, и вдруг узнала его.

— Цыть! — крикнула она. — Слышь, дядько, цыть!

Человек посмотрел на Катю, поймал ее глаза.

— В церкви мамо моя лежала... Ты их ночью увез... Маму без памяти тащили, помнишь, дядько? Ты мне крикнул, цыть!

Человек смотрел на Катю не отрываясь, спотыкался. Собаки лаяли на нее. Женщина-спутница схватила Катю, остановила.

— Молчи, дурная! Сама угодишь!

А Катя кричала вслед уводимому конвоирами:

— Где ж теперь батька мой? Где батько мой, люди добрые?

В избе она плакала навзрыд.

— То беглый, — утешала ее хозяйка, — как весна — так и бегут. А все больше политические, враги народу нашему, вот их и вылавливают. Собак нагонят — страсть! Ты, поди, обозналась.

— Он ночью в окно стучал, а мне казалось — то батько мой.

— Может и стучал, — согласилась женщина, — в нашем краю, девонька, жить страшно.

А Катя все смотрела сквозь слезы на дорогу, теперь на ней никого не было.

...До правления Катя добралась на попутке, За столом, где обычно сидел Сашок, она увидела Андрея.

— Ты что тут? — спросила она.

— Временно секретарем, — важно сказал парень.

А Сашок?

— Освободили его, — у Андрея побежали глаза, — ты что, ничего не знаешь? Потеря классовой бдительности.

Изо всех сил бежала Катя через село. Под навесом с техникой она увидела Сашка. Он был в комбинезоне, вытирал грязные руки промаслен-

ной тряпкой. Катя обняла его и заплакала. Сашок улыбался и боялся ее испачкать.

— Чудачка, — сказал он ласково, — наконец-то приехала. Теперь мы с тобой не расстанемся. Это решено.

... Утро было тихое, солнечное. Стол накрыли в саду, пили чай, разговаривали. Старики – Наум, Рива, Роза, приехавшие в село на каникулы Степка и Настя. Веселее всех и очень нарядной была Катя. Старому Науму было очень приятно, что такая большая семья и все вместе, и все, слава Богу, сыты. Он разглагольствовал:

— Я бы хотел, чтобы Степочка после школы поступил учиться на адвоката, а Настя на портниху. Это очень хорошие профессии. Роза мне не поверила и стала учительницей. Сколько ей пришлось плакать?

— Ничего, — сказала тетя Рива, — была бы здорова.

— Если б я мог, — клонил свое Наум, — я бы стал не сапожником, а обязательно адвокатом.

— Или судьей, — подсказала Катя.

Ах, как она любила сегодня всех сидящих за этим столом!

— Нет, евреи любят быть адвокатами, — сказал Наум. — И знаете почему? Потому что еврею приходилось всегда много терпеть обид, и еврей знает, — судить, — это все могут. Главное — защищать человека.

— Розочка, ты помнишь, как товарищ Сашко защитил нас от этого длинного Константина?

— О чем вы говорите, мама, — подосадовала Роза, — конечно, помню.

— Кать, а когда Сашок придет? — спросила застенчивая Настя. Катя прикрыла смеющиеся глаза, кивнула:

— Скоро...

Наум продолжал:

— И, наверное, первым адвокатом был Иисус Христос. Он ходил и уговаривал — ради Бога, не обижайте друг друга. Конечно, это, в конце концов, не понравилось.

— Папа, не говорите при детях чего не надо, — строго предупредила Роза, — чему ты все время смеешься, Катя?

— Она влюбилась, — пробасил Степка, и Настя ударила его по затылку.

— Не знаю, — сказала Катя, — рада, что вас всех вику, что Степка с Настей приехали.... И вообще, я решила быть счастливой. Назло всем.

— Зачем же назло? — испугалась тетя Рива.

И тут в калитку вошел Сашко.

Катя подбежала к нему, взяла под руку.

— А где же цветы? Ты ведь обещал — приду с цветами.

— Знаете, — сказал Сашок, — война.

...По дороге, забитой машинами, лошадьми, телегами, Катя и Степка гнали колхозное стадо. Испуганные суматохой, ревом моторов на земле и в воздухе, животные бежали, ошалело мыча и не было в них ничего мирного и домашнего. В клубах пыли Катя разглядела Розу. Та в платке и сапогах бежала рядом с подводой, нагруженной мешками с мукой.

— Настя где? — крикнула ей Катя.

Роза махнула рукой куда-то вперед, и Катя побежала, высматривая сестру. В это время где-то впереди начали ухать и рваться снаряды, оглушительно свистело в воздухе.

— Переправу бомбит!

Люди кричали от страха, но остановить движение было невозможно, все месиво из животных, людей и машин неуклонно стремилось навстре-

чу воющему ужасу. Катя помогала заворачивать подводы с мукой, потом кинулась к тем, кто распорядился переправой.

— Муку привезли, стадо колхозное гонят... Кому сдавать?

— Давай, давай, давай! — не слушая, сорванным голосом кричал молоденький офицер, и все, что возможно, грузилось на паромы, которые с трудом держались на воде.

— Бумагу подпишите, что муку и стадо приняли, — не отставала Катя.

— Ты что, ненормальная? — гаркнул офицер.

Катя побежала вдоль берега с ведомостью в руках.

— Катя! — к ней кинулся Сашок в военной форме. — Я так и думал, что еще раз увижу тебя. Катя прижалась к нему.

— Я с тобой, ладно?

— Немцы рядом, — сказал Сашок, — мы отступаем. Но ты жди, я приду к тебе.

— С цветами, да? — Катя тянулась его поцеловать.

На них налетел офицер, отодрал Катю от Сашка.

— Скажи своим, девушка, пусть возвращаются обратно, кто не еврей. Русских и украинцев они не трогают.

Ахнул прямо у самого парома снаряд, со всех ног бежали куда-то люди. Катя больше не видела своего Сашка.

...Была ночь. Августовские яркие звезды спокойно и равнодушно смотрели на бедную землю. А она вздрагивала, не переставая, от близких и дальних взрывов, и полыхали земные горизонты вспышками и пожарами. Катя, Настя и Роза шли по стерне, Настя была в сапогах, Роза и Катя — босые.

— Вся искололась, — сказала Роза, — выйдем на дорогу, Кать?

— Нет уж, — отрезала Катя, — были б одни, а то с Настькой...

— Роза Наумовна, вы свои сапоги обратно возьмите, — жалобно попросила Настя, — я легче, мне не так колко будет.

— Ой, только не говори глупостей, — раздражилась Роза.

— Давайте чуть передохнем, — предложила Катя.

Они расположились в соломенной скирде, Роза возилась с исколотыми ногами, Катя прилегла, смотрела в небо.

— И куда это Степка подевался, — вздохнула она, — как сквозь землю провалился.

— Небось, впереди нас шагает, — сказала Настя, — он мне крикнул — догоню.

Земля дышала, отдавая ночи тепло, она казалась такой надежной, родная земля...

— Звезда упала, — проговорила Катя, — А помнишь, Роза, как я тебя в уборной заперла?

— Мне обидно было, — засмеялась Роза, — только работать начала, важничала. И вдруг — такой позор! О, еще звезда...

— Желание загадала? — спросила Катя,

— Да какие мои желания. Дойти бы.

— Упрямая ты, — с досадой выругала ее Катя, — сказано ж было — евреям не возвращаться.

А мать с отцом? — глухо спросила Роза,

В темноте не было видно Розино лица, только голос глухой и безжизненный.

— Насть! — окликнула Катя.

— Задремала... — Роза обняла ее. — Вот кончится война, вернется Сашок, справим вам свадьбу... Скрипач будет играть, а я тогда станцую. В первый раз в жизни.

— Роз, — сказала Катя, — ты прости меня. Я ведь знаю, что Сашок тебе нравится.

— Я тебя прошу, — засмеялась Роза, — я типичная старая дева, буду старая, носатая, буду учить ваших детей.

Они помолчали, посапывала Настя и где-то, не боясь войны, стрекотали цикады.

— Знаешь, — сказала Катя, — я никому этого не сказала, я видела того, кто маму и батьку забирал. Его собаками, как зайца травили. Одежда в клочья, руки в крови... Ничего не пойму, То батьку, то этого... Если б не война — я бы Сталину письмо написала.

Роза встрепелась.

— Во-он костер в овраге, видишь? Уж не Степка ли?

— Сбегаю, посмотрю, — вскочила Катя, — ты с Настей останься.

Она сбежала в овраг и остановилась, У небольшого костра, спиной к ней, сидел Константин в майке и трусах. Мосластьми жилистыми руками Константин кромсал какую-то ткань, бросал куски в огонь.

Приглядевшись, Катя поняла, что Константин сжигал свое воинское обмундирование.

— Что делаешь, гад? — звонко крикнула Катя, — Дезертировал?

Парень вскочил, как ужаленный,

— Ты откуда тут? — прошипел он.

— Тут не одна я, — зло сказала Катя, — вон солдат наших на дороге сколько... Не уйти тебе, голубчик.

— Тише, дура, — Константин отступал, оглядываясь, — ты ж тоже от этой власти пострадавшая... Немцы здесь завтра будут, они таких, как мы, своими считают... — Он двинулся к Кате, растопырив руки.

— Ой, — в ужасе присела Катя, — кто у тебя за спиной, сволочь?

Константин отпрыгнул, упал на землю, а Катя, скользя в темноту, мчалась неслышно туда, где она оставила Розу и Настю.

— Тихо, — шепнула она им, отдышавшись, — бежим скорее, только в обход.

...Когда она вошли в село — оно показалось им крепко спавшим, двери и ставни были плотно закрыты, хотя солнце уже поднялось высоко. Две девчонки, ровесницы Насти, налетели на них.

— Роза Наумовна! Наши солдаты остались! Пять человек...

— Надо переодеть, — сразу включилась Катя, — несите мужскую одежду, какую можно. Где они?

— В сараях... За фермой.

— Скорее!

Она помчалась в местечко.

— Дядечко! Скорей! Брюки, пиджак — что можете, что не нужно. Солдат переодеть.

Наум и Рива заметались по дому, на руки Кате летела небогатая одежда.

— Хватит! — остановила стариков Катя.

— Подожди, деточка, — попросил Наум и полез в сундук. — Это совсем еще хороший костюм. Я его сшил, когда родилась Роза. Я очень гордился тогда. Возьми его тоже.

— Зачем? — удивилась Катя, — Он вам еще самому пригодится.

Наум покачал головой.

— Скорее всего он мне не понадобится... В крайнем случае, я пошью другой.

Тетя Рива и Роза стояли, опустив головы, и Катя запнулась у входа.

— Наши скоро вернутся, — сказала она.

— Кто может сомневаться? — улыбнулась тетя Рива, — поэтому мы и хотим, чтобы наши вещи остались для вас: для тебя, для Степочки, для Насти. Забери, что хочешь, деточка...

У Кати брызнули слезы, она кинулась из дома с охапкой вещей, помчалась по дороге, ведущей к ферме и там, на взгорке, ее застал резкий нарастающий треск: в ее село, подняв густую пыль, въезжали на мотоциклах враги.

...Катя и Настя смотрели с крыльца, как выходят из калитки Наум, тетя Рива и Роза. Они вышли на улицу и оглянулись.

— Иди, иди, — подтолкнул высокий костлявый полицейский и тоже обернулся.

Это был Константин.

— Приказ немецкого командования, — сказал он Кате, будто не узнавая, — в еврейские дома не заходить.

Семья старого Наума влилась в длинную вереницу понуро бредущих по улице людей. Эсесовцы и полицаи сопровождали колонну, гнали ее в сторону села. Сестры побежали следом.

— Куда их ведут? — спрашивала Катя у тех, кто стоял на обочине дороги.

— А кто знает, — отвечали ей, — говорили, вывозить на работу будут.

— Чтой — то одних евреев-то выбрали? — не поверил кто-то,

— Потому дюже способный народ, — объяснил какой-то дед. Немец — он не дурак. Имущество их трогать не велели, чтоб, мол, работали спокойно, не сумлевались, что все будет в сохранности.

— Катя, — тихонько позвала молодая женщина с грудным ребенком на руках, — возьми!

Она бросила маленький сверток, Катя успела поймать его и, прижав к себе, ощутила на миг упругое и нежное тельце. Но подбежавший Константин выхватил у нее ребенка и сунул рыдающей матери.

— Держи свое жидовское отродье!

Колонна поднималась на бугор, к церкви, Красиво гляделось оттуда село: аккуратные хаты, сады, полные яблок и груш.

— В церкви запрут, — догадались провожающие.

Закрылась тяжелая церковная дверь, заходили около часовые.

Катя потянула Настю за руку, глазами показала — бежим.

Сестры пробирались прибрежными кустами вдоль неглубокой речки, почти ручья. Иногда бежали по щиколотку в воде, нагретой солнцем.

— А там кукурузным полем пойдем, — шепнула Катя, — Не увидят...

Ферма была далеко от села, а совсем на отшибе стояли старые приземистые сараи, в которых складывали сено.

Сестры присели в высокой кукурузе, прислушались.

— Тихо, — сказала Катя, — никого...

— А вроде моторы, — насторожилась Настя, — или показалось.

— От фермы круг дадим, — решила Катя, — тогда мы через овраг к сараям выберемся.

Так они бежали, пригибаясь, прячась в высокой траве, а в это самое время по дороге в ту же сторону двигались закрытые машины.

Сено было примято, затоптано. Те, кто прятался в нем, исчезли.

— Или ушли, или... — Катя устало прислонилась спиной к нагретым солнцем старым доскам.

— Разве им далёко уйти? — пригорюнилась Настя. — Двое совсем на ногах не стояли.

— Надо обратно, — сказала Катя, — а то наших увезут — мы и проститься не успеем.

— Кать, ей богу, машины какие-то, — Настя прильнула к цели меж досками, — гляди, сюда, к оврагу заворачивают.

Тяжело переваливаясь, три большие машины в сопровождении мотоциклистов, свернув за ферму, остановились. Спрыгнули на землю эсесовцы, забегали, засуетились. Резкие команды на чужом языке были отчетливо слышны в сарае.

— Ой, Катя, гляди... — прошептала Настя.

Из машин выталкивали людей, и сестры увидели, что это те, кого недавно заперли в церкви. Наум, Рива, Роза, женщина с грудным ребенком...

Всех их погнали к оврагу, поставили на краю. Торопились по-лицая, переводили команды на русский язык.

— Раздеться догола! Сложить одежду у ног! Живо, живо!

Катя увидела, Константин замахнулся на Наума.

— Чего копаешься, старый хрыч! Скидавай портки.

И показалось Кате, что она расслышала спокойный, насмешливый голос старика:

— Ой, Константин, как я могу такое сделать? У меня же дочь невеста.

От удара в лицо Наум покатился на склону вниз и тотчас же затрещали пулеметы.

— Не смотри, Настя! — крикнула Катя, а сама, прижимая к себе голову сестры, не отводила глаз от происходящего. Крики и плач обрывались автоматными очередями, заливаясь кровью падали и падали на дно оврага люди.

И снова стало тихо под синим и солнечным небом, и было тихо, пока выводили фашисты из машин последние свои жертвы — пятерых мужчин, едва державшихся на ногах. Порванная, залитая кровью одежда

была штатской, на одном из пятерых был старомодный торжественный костюм, но умерли они по-солдатски — только пули заставили их упасть.

Катя кричала беззвучно, голова ее моталась по сену, слез не было, только сухие безумные глаза да перекошенный рот, да искусанные руки. Настя, наплакавшись, тупо смотрела, как эсесовцы с полицаями, забросав убитых людей землей, усаживались в машины, Вдруг она насторожилась.

— Сюда едут, — прошептала она, и Катя опомнилась, глянула в щель.

К сараям на мотоциклах ехали солдаты, с ними были полицейские, длинный Константин. Катя увидела канистры.

— Зажгут! — ахнула она. — Бежим! — падай на траву, отползи и за-таись! За мной не беги, слышишь!

Они выскочили наружу, Катя толкнула сестру в высокие бодыльи, та упала, а сама она бросилась напрямик к кукурузному полю. Фашисты увидели ее не сразу, она уже была почти у цели, когда сзади раздалось «Хальт» и рев моторов.

— Хальт! — гаркнули над её ухом, и пышущая жаром машина преградила дорогу.

Она оглянулась. Занимались огнем сараи, серый, дым еще неуверенно застилал голубое безоблачное небо,

...Кате чудилось, что она еще маленькая и мать купает ее в корыте. Смеется, напевает, любит дочь, льет на нее чистую водичку. Катя бьет ладошками, много-много брызг вокруг, она ловит их ртом. Катя искала пересохшими губами хоть капельку влаги, а когда открывала мутные глаза — видела в слабом свете одно и то же: бледные опухшие лица,

замученные в конец бесконечной дорогой, духотой, скученностью, а главное — жаждой.

— Пить, — сипели высохшие глотки, и только бред или беспамятство становились счастливым избавлением. Упасть, лечь было невозможно — в товарный вагон девушек набили тесно, что они могли только стоять.

— Ноги не чувствуют, — прошептал тоненький голосок возле Кати, она увидела худенькое большеглазое личико.

— Сколько тебе лет? — спросила Катя,

— Пятнадцать.

— А зовут как?

— Марийка.

— Обопрись на меня. Есть хочешь?

— Не... хочется.

— Городская, небось?

— Ага... Я в облаву попала. Мама и не знает, — девочка всхлипнула.

Вагон задергался и остановился, Что-то кричали по-немецки, около вагона бежали, топоча сапогами.

— Сволочи! — Кто-то из девушек забарабанил в дверь. — Воды дайте!

Но вагон снова качнуло, поезд набирал скорость.

— Куда везут-то нас, гады? — прорыдал кто-то хрипло.

— На работы, сказывали.

— Так мы и передохнем все. Нет, то не на работу.

И опять только стоны да хриплое дыхание.

— Мамочка, это я! — Горящие огнем тонкие ручки обняли Катю за шею. — Я вернулась!

Катя прижала девочку к себе.

— Вот и ладно, доча моя, отдохни, усни, — она чуть покачивала обвисшее в ее руках худенькое тело Марийки и чуть слышно напевала ей.

Девочка затихла, Катя слышала, как прерывается, исчезает ее слабенькое дыхание. А потом Катя сказала:

— Люди добрые... Мариечка у нас умерла, царствие ей небесное.

И тогда все они так потеснились, чтобы Марийке можно было лечь со сложенными на груди руками.

2

...Раздвинулись тяжелые вагонные двери, девушки падали на землю, онемевшие ноги не держали их. Фашисты поднимали криками и ударами, заставляли строиться. Из вагонов выносили умерших.

— Шнель, шнель! — погнали солдаты колонну,

Широкие ворота пропустили их и захлопнулись. Низкие бараки, вышки с часовыми, колючая проволока.

— В концлагерь привезли, — рядом с Катей шла беленькая курносая девушка.

Другая, рослая и сильная, спросила у конвоира что-то по-немецки. Тот криво усмехнулся, что-то буркнул.

— Что, что? — спросила у нее Катя.

— Спросила, где мы будем работать...

— А он что?

Девушка глянула на нее и промолчала. Прямо перед ними выросло приземистое каменное строение, непонятного назначения.

— Девушки, вы сейчас идете в баню! — на ломаном русском языке крикнул переводчик.

В предбаннике, где раздевались, было холодно, никаких признаков пара и тепла. Следующее помещение, куда их загнали, было и вовсе без

окон, каменный мешок с тусклой лампочкой в металлической сетке. Дверь за девушками захлопнулась, и было слышно, что ее задраивают.

– Девочки! – крикнул кто-то, – То не баня!

Высокая статная наклонилась к Катиному уху:

– Конвоир сказал, что работать мы здесь будем на господа бога. Мы не выйдем отсюда.

– Мамонька! – пронзительно вскрикнула беленькая и курносенькая, – То ж душегубка!

Крики переходили в плач и вой, в жуткое отчаянье погибающих ужасной смертью.

– Да не вопите ж так громко! – Катя металась среди девушек, встряхивала, обнимала. – Они ж, гады, радоваться будут нашим слезам, им же это удовольствие! Тихонько помрем, девчата милые, тихонечко.

И крики затихли, только глухие рыдания да всхлипы, да томительное ожидание последней минуты.

– Меня Женя зовут, – шепнула рослая, – обнимемся?

Они обнялись с Катей, как родные, и к ним де прильнула беленькая, курносенькая.

– А я Оксана... Прощайте, девочки.

Но вдруг залязгали, открылись двери.

– Выходить одеваться быстро! – закричал переводчик, и кто-то громко ругался по-немецки, – Юде! Юде! Ист нихт юде!

Ничего не понимающих девушек погнали обратно, снова перрон, снова вагон, набитый до отказа.

Катя услышала, как один охранник объяснял другому:

– Вот немец промашку дал, а? Энтих на работу везут, а их чуть в душегубке не уморили. С жидами перепутали.

Тронулся поезд, повез всех их, чудом уцелевших дальше, но в первый раз за дорогу Катя рыдала громко и страшно.

...Рассвет еще только начал заниматься, а в бараке уже орала полицейские:

— На работу! Вставать! На работу!

На частых нарах лежали люди, спали или нет — понять было нельзя, на крик никто не повернулся, не поднял головы.

— Подъем! Встать! — надзирательница в эсесовской форме бежала по проходу, сдергивала тряпье, которым закрывались девушки.

— Это есть бойкот! Вы пожалеете!

Когда надзирательница выскочила из барака, Катя подняла голову.

— Не бойтесь, девчата.

А в барак уже вбегали эсесовцы с собаками, которые рвались на лежащих людей. Но ни удары дубинками, ни собачьи зубы не заставили девушек подняться. Рывками их стаскивали с нар, избитых, выволакивали наружу и под конвоем повели к машинам.

— Вы отказываетесь работать — вас расстреляют! — выкрикнул переводчик.

— Лучше пусть расстреляют, чем с голоду подыхать, — сказала рослая Женя. Она помогла влезть в машину маленькой Оксане, подала руку Кате.

— А я не верю, — улыбнулась подругам Катя, — мне кажется, сегодня что-то хорошее случится.

— В рай попадешь, — пошутил кто-то невесело.

Девушек выстроили у высокой каменной стены, выщербленной пулями и тотчас, уже не немцы, а доставленные для расправы полицаи защелкали затворами.

– Что удумали, курвы! – длинный мослатый замахнулся на Оксану.

– Стараешься, Константин? – узнала его Катя.

Тот вздрогнул, оглянулся.

– А ты подурнела, – ухмыльнулся он, – тогда в кукурузе ты апшетитная была.

– Зря ты палачом стал, – спокойно и равнодушно сказала Катя.

Константин выхватил ее из строя, толкнул вперед:

– А ну иди! Руки за спину!

И Катя пошла, подняв голову и улыбаясь, будто все еще ожидая чего-то хорошего от этого утра.

Полицаи загоготали вслед.

– Стой, зараза! – приказал Константин, когда они остались один на один, – я тебя убивать буду, да не сразу... Ты у меня еще сама смерти запросишь.

– Хуже, чем ты со мной сделал, – грустно сказала Катя, – тебе уже не сделать... А зря ты стал палачом, Константин.

– Зря, – кивнул тот, – немцы такие же сволочи. Знать бы раньше – лучше б я за вашу паршивую власть воевал.

– Глупый ты, – сказала Катя.

Она смотрела небрежно на небо, любовалась его красками.

– Ты очень глупый. У всех есть родина, своя земля, даже у фашистов. А у тебя – ничего. Ты хуже фашистов.

Константин выстрелил, не целясь. Пуля обожгла Кате щеку. На выстрел прибежала надзирательница, закричала на Константина, погнала Катю обратно в строй. По Катиному лицу текла кровь.

– Ничего, – ответила она на испуганные взгляды подруг, – то просто царапина.

А перед строем появился полный господин в штатском костюме и очках.

— Гутен морген, — сказал он и попросил объяснить причину забастовки.

— Нас не кормят, — ответила по-немецки Женя, — мы работаем по одиннадцать часов, а едим один раз в день жидкую баланду, Так мы работать отказываемся. Пусть нас кормят, как бельгийцев или французов.

— Как главный инженер я обещаю, что вы будете получать обед, но я требую, чтобы вы приступили к работе, — господин обвел девушек холодным взглядом, — Прошу не забывать — пути назад у вас нет. Вы делаете самолеты, на которых мы бомбим ваши города. Если попадете в руки своих — вас расстреляют.

...Автоматические движения, ни секунды передышки, конвоир за спиной, готовый ударить прикладом тех, кто уже не мог стоять — так работали в литейке. Вот пошатнулась слабенькая Оксана, но от удара ее загородил, словно невзначай, парень в берете, возивший на тележке заготовки. Он подмигнул Кате, что-то сказал по-французски.

— Все, — крикнула Катя, — кончай работу. Обед.

Каждая со своей миской супа пристраивалась где-нибудь, стараясь прислониться спиной и вытянуть затекшие ноги. Катя, Оксана и Женя примостились на подоконнике зарешеченного окна.

— Кать, — Оксана насмерть усталая, ела медленно, — а ты веришь, что наши нас расстреляют?

— Что об этом думать? — вздохнула Катя. — Наши это наши. Дай Бог, чтобы они пришли.

— Вон тот парень в берете, тоже наших ждет, — сказала Оксана, — он из Франции, зовут Франсуа.

— Он все на нашу Катерину поглядывает, — улыбнулась Женя.

— Смотрите, — Оксана показала вниз, — какого старика заставили работать.

Внизу, во дворе, дряхлый, худой и немощный человек пытался нагнать тележку заготовками. Он несколько раз брался за металлическую болванку, но не мог оторвать ее от земли. Эссесовец замахнулся — человек прикрыл голову рукой,

— А ведь это наш, — сказала Катя.

— Немцы говорят, будто Сталин отказался от своих пленных. -

Женя обняла подрост, вместе они смотрели на мучения несчастного. — Французов, бельгийцев кормят через Красный Крест их страны, а наши - пропадают.

— Я сейчас, — Оксана убежала куда-то, а Катя все не могла оторвать глаз от человека во дворе. Но вот рядом с ним появился Франсуа, помог старику нагнать тележку и вдвоем они повезли ее по двору, то есть вез Франсуа, а тот, другой, просто держался за нее, чтобы не упасть.

Кончился обед. Механические движения, часовой за спиной... И вдруг откуда-то издали появился звук, он нарастал, приближался.

— Наши летят, — шепотом сказала Катя и закричала. — Девочки! Это наши!

Истошно завывали в воздухе бомбы, закричали, заметались фашисты, а девушки обнимались, прыгали, пели.

— Миленькие, хорошенькие, — плясала Оксана, — прилетели! — Она обняла вдруг парня в берете, закружила. — Это наши, Франсуа!

— Бейте сюда! — как безумная кричала Катя, — Цельтесь лучше, бейте прямо сюда!

Полицаи начали избивать девушек, у Кати из ободранной пулей щеки опять потекла кровь.

— Я же знала, что-то хорошее случится! — смеялась Катя в лицо фашистам.

Но вот все они примолкли, слушая затихающий гул самолетов.

— Улете. Это союзники, — потухшим голосом сказала Катя и, независимо подняв голову, пошла мимо часового. — Я умыться хочу. В маленькой подсобке была открыта дверь, и кто-то говорил по-русски, глуха кашляя.

— Они вернутся... Мы победим, я в хорошую жизнь верю.

Катя, как слепая шагнула в подсобку, Тот изможденный старик сидел к ней спиной, ел суп. Франсуа сидел рядом,

— Дядечко, — шепотом спросила Катя, — откуда вы родом, дядечко?

Старик обернулся, худой неверной рукой стянул с головы шапочку заключенного. Седые его волосы не скрывали ужасного грубого шрама на голове.

— Катя, — сказал он и встал, — это ведь я, Катя...

И тогда Катя упала на колени, и прижалась лицом к ногам несчастного.

— Ой, Сашок, что же они с тобой сделали?

Сашок не мог поднять ее, он опустился рядом на цементный пол и старался, и все не мог стереть с Катиного лица кровь и слезы. Франсуа смотрел на них — и вдруг закрыл беретом лицо...

...И все-таки он пришел — день Победы, и Катя дождалась его. После всего пережитого все, что она видела сейчас, казалось сном, Союзники раздавали освобожденным еду и одежду. Щедро и празднично делали они это для измученных узников. Огромный грузовик был доверху нагружен банками, металлическими банками с настоящей тушенкой. Рослые солдаты — белые и черные, улыбаясь широко, отдавали царское угощение в худые, как плети, руки. А другие солдаты, переключаясь по-

английски, взламывали двери немецких складов и те же измученные руки получили добротную одежду.

Франсуа в своем всегдашнем, сдвинутом на одно ухо берете, выглядывал кого-то в толпе освобожденных.

— Катя! — он потащил девушку за собой, сказав только одно слово: — Сашок!

Они изо всех сил бежали туда, где союзные войска освобождали узников концлагеря. Опрокидывалось, валилось и ломалось все то страшное, необходимое палачам для пыток и казней. Из бараков выходили, поддерживая друг друга, живые скелеты. Многих несли на руках.

— Победа! — По-русски кричали солдаты союзных войск.

— Победа! — И отдавали честь, вытягиваясь перед советскими военнопленными.

— А где наши? Наши-то где? — волновались едва живые люди.

— Русские — там! — американцы показывали на восток, — Русские

— победа! — и они поднимали кверху большой палец руки.

А когда патефон запел «Катюшу» на русском языке — вот тут поняли узники концлагеря, что война кончилась. Они не стеснялись плакать, и Сашок плакал, обнимая Катю и Франсуа.

— Вот и все, — Катя гладила его ввалившиеся щеки. — Теперь уже совсем скоро мы поедем домой. Там сейчас красиво, весна...

Сашок вдруг обвис в ее руках, Франсуа подхватил его.

— Он болен, — сказал он по-немецки, — я найду врача.

...Ветерок отдувал легкую занавеску, Сашок лежал на чистой госпитальной кровати, Катя держала его руку.

— Так мы и отступали. Все перепуталось, где наши, где немцы, где фронт — понять было невозможно. В общем-то, верить, что немцы уже везде — не хотелось...

— Не уставай, — попросила Катя. Сашок покачал головой, вспоминая.

— Знаешь, это такой ужас — отступать! Наша батарея по лесу долго плутала, потом последние снаряды расстреляли в фашистов, орудие разобрали — и в болото...

Молоденькая чернокожая сестра в белом высоком чепце, в затянута халатике принесла Сашку лекарство, улыбнулась белозубо и дружелюбно.

— Ну вот, Сашок прикрыл глаза, — обнаружили мы себя — нас и накрыли. Кому повезло — того убило, а я, когда очнулся, был уже в плену. Пробовал бежать — поймали, били по голове, начались припадки.

— Не вспоминай, — Катя осторожно прижалась к Сашку, — еще немного полечишься и домой.

— А вначале — к своим, — улыбнулся Сашок, — Доберемся, до советской зоны, она недалеко.

— Женя и Оксана уже уехали, — вздохнула Катя, — из знакомых один Франсуа остался, хочет нас проводить.

— Замечательный парень, — сказал Сашок. — Если б не он...

— Нам с ним по-немецки разговаривать приходится, — засмеялась Катя.

Сашок сжал ладонями ее лицо:

— Мне тебя так поцеловать хочется.

И Катя вдруг сникла, отодвинулась.

— Ты пока не надо про это, — тихо попросила она, — ты просто вы-здоровливай.

Как виноватая, она опустила голову, чтоб Сашок не увидел ее лица.

...Все трое они расположились на траве. Франсуа то насвистывал, то напевал забавную и трогательную французскую песенку. Сашок радовался солнцу, лету, разглядывал свои руки.

— Я уже стал толстым, как до войны! — смеялся он, — А знаешь, Франсуа, я знал Катьку вот такой, — он показал рукой. — У-у, какая она была сердитая! Понимаешь?

Франсуа кивал, что понимает и тоже смеялся, а Катя молчала, пристально и напряженно вглядываясь вглубь госпитального сада.

— Ты что? — спросил Сашок.

— Так, показалось... — лицо ее болезненно исказилось, — Не смотри на меня, — попросила она Сашка.

— Ихъ воль... — начал Франсуа.

— Давай по-русски, — остановил его Сашок, — ты же умеешь.

— Я хочу, — послушно выговаривал Франсуа, — я оччень хочу ф-ареннах Россия, Москва... очшен. Я два год училь русский, хотел читать Ленин... приехал Москва.

— Нет, — мечтательно прервал его Сашок. — Никакая не Москва. Ты приедешь к нам с Катькой в гости... Ох, и жизнь будет у нас!

Катя медленно поднялась на ноги, очень бледная, остановившимся взглядом смотрела она на длинного мосластого санитаря с маленькой головой. Он волок помойный бак, но, почувствовав Катин взгляд, приостановился, повернул голову.

— Константин, — звонко крикнула ему Катя, — а ведь теперь ты не уйдешь от меня!

Санитар бросил бак, нырнул в кусты, Катя кинулась следом, за ней — Сашок и Франсуа. На ходу сбрасывая белый халат, Константин мчался к металлической высокой госпитальной ограде.

— Держите его, — кричала Катя, — это убийца!

Рослые американцы курили у ворот и с удивлением смотрели на эту картину, Константин перемахнул ограду, Франсуа за ним. Катя, плача, пыталась объяснить солдатам.

— Он фашист, понимаете... Он предатель. Эсэс.

— Эсэс? — удивились парни и показали на запыхавшегося Франсуа.

— Он?

— Нет, тот длинный... А! — Катя махнула рукой. — Вам не понять наше горе.

— Не смог догнать, — Франсуа тяжело дышал. — Подожди, Катя, не плачь. — Он убежал куда-то.

Катя сказала Сашку:

— Я его найду и убью. Я поклялась.

— Расскажи, — попросил Сашок. — Не жалею — я уже здоров.

— Он убивал Наума, Риву, Розу, раненых наших солдат... Он стрелял по девочкам и они падали в крови. А меня он — опоганил, — Катя улыбнулась горько. — Не буду я твоей женой после него, не смогу.

Сашок закрыл лицо руками и долго стоял так, всхлипывая тяжело.

— Прости меня, — попросила Катя, не дотрагиваясь до него.

Подошел Франсуа, глянул на них тревожно.

— Я все рассказал американцам. Они позвонили, будут искать.

Сашок положил ему руку на плечо.

— Франсуа, ты знаешь — у нас с Катей сегодня свадьба.

— Свадьба? — не понял тот.

Сашок приподнял Катину голову и крепко поцеловал в губы.

— О! — понял Франсуа. — Марьяж. Это хорошо.

Катя посмотрела вокруг — глаза Сашка, улыбка Франсуа, зеленая трава, небо — все говорило ей, что счастье возможно. И Катя поверила.

... — Ты когда меня полюбил? — шепотом спрашивала она, хотя в этой крохотной комнатке они с Сашком были одни.

— А когда в первый раз увидел, — Сашок лежал на спине, перебирал Катины волосы, гладил их.

— А помнишь, где мы увиделись? Ты возле мертвой мамы стоял.

— Я потом многое понял. Тогда — дурак был.

— Если у нас дочка родится — назовем Марией, как маму, если сын — будет Сашок. Хорошо?

Сашок разглядывал Катино лицо на подушке.

— А ты меня, когда полюбила?

Они обнимались, забыв обо всем на свете — о жестокостях и ужасах времени, в котором жили, о том, что очень далеко еще до родной и желанной земли.

— Моя судьба — такая черная... И вдруг — счастье, — шептала Катя.

— Я говорил — приду — и пришел. Ты меня дождалась, слышишь? — счастливо смеялся Сашок. — Чувствуешь, как цветы пахнут? Франсуа целую охапку приволок.

...Может, кто и видел в этом немецком городе, как молодая счастливая женщина рано утром распахнула окно. Она была так ослепительно красива, что нагота ее не удивляла, а давала радость и надежду на все лучшее в мире.

— Теперь только жить да жить, — сказала она кому-то.

...А потом в крытом грузовике они катили по дороге. Чернокожие американские солдаты согласились взять их с собой.

— Они едут в Париж, — объяснил Франсуа, — может быть, я уеду с ними. Только вначале провожу вас.

Солдаты дружелюбно улыбались Кате и Сашку, а они смотрели на дорогу, убегала, уходила назад чужая земля.

Когда грузовик остановился — Франсуа тоже спрыгнул на землю.

— Они потом заедут за мной, — объяснил он.

Солдаты помахали Катя и Сашку на прощание и подняли большие пальцы.

— Ура, русский! Русский — победа!

Катя оглядела Сашка: одет ладно, брюки и китель с немецкого склада, тугой ремень, а главное — глаза, молодые и счастливые. Она пригласила ему волосы.

— Седенький мой...

— Видишь, Франсуа, стесняется, что муж у нее старик, — засмеялся Сашок.

И они пошли, взявшись под руку, Франсуа был рад за них и любовался Катей — добротные трофеи с немецкого же склада выглядели на ней почти элегантно.

У входа на советский КПП, в будке стоял капитан — молодой и бра-
вый. Сашок волновался и Катя начала первая.

— На Родину хотим вернуться... К кому нам обратиться?

— Документы? — коротко попросил капитан.

Молча посмотрел Катины, спросил у Сашка:

— Военнопленный? Когда освобождены?

— Два месяца назад, Я был болен, лежал в госпитале.

— Одну минуту. Назаренко, принимай! — крикнул он и другой офицер — лейтенант с автоматом на плече вышел из проходной.

— Степка, — растерянно сказала Катя. — Саш, гляди, это Степка! — и она бросилась на шею лейтенанту, — Нашелся, братик мой!

— Отставить! — резко остановил их капитан. — А вы, гражданин, пройдите!

Катя плакала, обхватив Степку. Тот глядел ошалело, заливался краской.

— Это ее родной брат, — тихо объяснил Сашок и оглянулся, Поодаль стоял Франсуа, улыбался непонимающе. Сашок махнул ему на прощание рукой.

— Пройдите, — выдавил Степан, не глядя Кате в глаза, — не положено...

У Кати высохли слезы, она бросилась за Сашком, но кто-то остановил ее.

— Я с мужем, — резко сказала Катя.

— Документа о браке у вас нет, а раз так — вместе не положено.

Катя услышала голос Сашка и, оттолкнув того, кто был перед ней, шагнула в большую комнату.

— Почему вы обыскиваете меня? Я советский офицер и прошу отпустить меня на Родину вместе с женой, — говорил Сашок, голос его дрожал.

— Советские офицеры в плен на сдавались! — крикнул человек в форме майора, — пройдите и сядьте вон там, рядом с таким же как вы «героем».

В том углу, куда указывал майор, кто-то сидел. Катя вгляделась.

— Константин, — сказала она и закричала. — Товарищи, это убийца, изверг! Он у фашистов служил!

И тогда Константин ухмыльнулся ей в лицо:

— Помолчала бы, немецкая подстилка.

Сашок повернулся к майору:

— И вы меня с ним? С фашистом?

Тот не отвечал, писал что-то быстро на бумаге.

Катя оглянулась, ее брат Степка стоял за ее спиной, лицо его дрожало.

— Стёпочка, — сказала Катя, — ты мамочку нашу помнишь? А как суп из сухарика варили?

Автомат соскользнул со Степкиного дрогнувшего плеча, и Катяхватила этот автомат.

Константин только и успел, что сделать навстречу ей один шаг и его расширившиеся от ужаса глаза так и остались открытыми, когда он упал мертвый.

— Я все-таки убила эту гадину, — Катя бросила автомат.

— Вы уничтожили свидетеля, — сухо сказал майор, — это будет еще одним обстоятельством против вас.

— Вы ошиблись, — Сашок старался спокойно, — Это фашист, убийца... Может, и нас он оклеветал, но мы — не предатели.

— Все вы одинаковые, — сказала капитан. — И одеты-то как фрицы. — Он грубо дернул Сашка, — А ну садись туда, гад, и молчи.

И тогда Сашок со всей силы ударил раненой головой в подбородок капитана. Тот отлетел, лицо Сашка залилось кровью — его собственной кровью и майор, вытащив пистолет, выстрелил в это лицо.

Сашок упал, у него задергались руки и ноги, а лица, любимого его лица Катя больше не видела — была на этом месте страшная черно-красная каша. И Катя закричала, увидев убитым своего Сашка, так закричала, что на миг, только на миг оцепенели все в комнате — вот тогда-то и бро-

силась Катя прочь от этих людей. Дверь охранял лейтенант Стёпка, но он не остановил сестру...

На улице, совсем близко стоял грузовик, чернокожие солдаты, видно, задержались, услышав выстрелы в советском КПП. На лице Франсуа была тревога, Катя бросилась к нему.

— Сашка убили! — закричала она по-русски, но лицо у нее было такое, что много черных рук подхватили ее, втащили беспамятную в грузовик и следом же, почти на ходу, вскочил туда Франсуа.

Уезжала, удалялась крытая машина, и удалялся, улетал куда-то за облака пронзительный и горестный Катин крик.

3

...Казалось, что это поет Париж, так подходил к облику города низкий и хрипловатый женский голос в сопровождении аккордеона. Париж сорок пятого, разграбленный и поруганный оккупантами, но по-прежнему дружелюбный повернутый ко всему миру, опрятный и бедный, терпеливый и гордый. Город, умеющий превращать перелицованное старье в шедевры моды, а бедные мансарды в украшение домов и улиц.

Прекрасно старомодный и неповторимый город, который в самые страшные дни назло врагу не переставал любить цветы и песню. А что касается худобы и бледности парижан, так они выдавали это за элегантность. Крутились карусели, играли на улицах аккордеоны и гитары, собирались в кафе и бистро завсегдатаи, а вечный Нотр-Дам окруженный со всех сторон Сеной, наполнялся вечерами мерцанием свечей и торжественным органным звучанием.

Где-то в глубине собора шла служба, люди вставали на колени, склонялись низко к каменным плитам пола, Катя сидела в полутьме, серый камень стен возносился над ней сурово и гордо, Франсуа тронул ее за плечо.

— Смотри, Катя, я принес поесть. Даже немного вина.

Катя молчала, не отводя глаз от распятия, на котором мучился человек в терновом венце. Грудная клетка его мученически расширилась, ребра натягивали бледную кожу, отблеск свечей судорогой пробежал по запрокинутому лицу.

— Сашок, — прошептали Катину губы, — как ты мучаешься, любимый...

Франсуа со страхом заглянул ей в лицо.

— Не надо, Катя! — он грел ее руки,

— Да кончайте ж вы его мученья! — крикнула Катя, — Прошу вас, кончите!

Крик ее эхом полетел по собору, ударился в аскетические стены, зазвенел в оконных витражах. Проходивший священник остановился возле Кати, сказал ей что-то по-французски. Франсуа открыл бутылку, дал Кате отхлебнуть несколько глотков.

— Сейчас будет лучше... Он сказал, — ты здесь по кровом Всевышнего.

— Как дальше жить? — спросила Катя.

— Люди устали, ожесточились, — сказал Франсуа, — надо подождать. Катя смотрела на Распятие.

— Я не успела ему сказать,... кажется, у меня будет ребенок.

Она тихо плакала. Франсуа не успокаивал, молчал. Потом сказал твердо.

– Ты поживешь у нас. Когда станет можно – уедешь, если захочешь. Ребенка ты должна сберечь. Ради Сашка!

Катя вытерла слезы, вздохнула.

– Мама моя умерла в церкви. Как он сказал? Под кровом Всевышнего...

Свечи оплывали, будто плакали, пламя дрожало и двоилось в Катиных глазах. Ей нужно было жить дальше.

...Была ночь, спала маленькая французская деревня в горах Лимузена. Дома и амбары из камня, ограды из камня, дубовый лес вдоль дороги, уходящий по склону вверх и мягкие очертания вершин. Плотные закрытые ставни домов создавали уверенность, что внутри тепло и уютно.

Франсуа постучал в дверь тяжелым, привинченным к ней, металлическим кольцом.

– Не слышат... Еще дед моего отца делал эту дверь, – Франсуа волновался, Катя безмолвно стояла за его спиной.

За дверью громко спросили:

– Кеске ля?

Загремели засовы, и Франсуа обнял высокого худого человека. Потом женщина с крестьянским дубленным лицом и суровым ртом, в широкой юбке и чепце заспешила по лестнице вниз, стучали по ступеням деревянные подошвы.

– Мама, – сказал Франсуа, и она спрятала лицо на груди сына. Отец зажег камин, комната с большим столом, комодом, плетеными широкими стульями и висячей лампой наполнилась теплом.

– Я не один, – по-немецки сказал Франсуа, – проходи, Катя.

Старики смотрели на нее молча, отец пододвинул стул.

– Битте, – сказал он.

Мать спросила:

— Она что, немка?

— Русская, — сказал Франсуа.

Отец поставил на стол бутылку светлого сидра, налил в стаканы, протянул Кате.

— Битге.

— Ты совсем устала? — спросил Франсуа по-немецки.

Катя покачала головой

— Найн...

Мать что-то неодобрительно выговаривала сыну, тот засмеялся.

— Она не хочет слышать немецкий язык, говорит, проклятые боши и так надоели. Когда меня забирали — у нее еще не было таких морщин.

— Садитесь ближе к огню, — пригласил отец, — мы рады вам. Русские — замечательные люди.

И крестьянский этот дом напомнил вдруг Кате родное и далекое, она улыбнулась, сказала по-русски:

— Спасибо вам.

...Наступила осень, хозяйственные заботы живущих на земле не ждут, и четко, как времена года, сменяют друг друга. Ясным теплым днем мать Франсуа и Катя собирали на поле картошку, отец и Франсуа относили к дороге корзины. Катя тоже взялась было за корзину, Франсуа испуганно отнял ее руки.

— Тебе нельзя, Катя!

Мать глянула на него сурово,

— Люди спрашивают меня, кто тебе эта девушка?

Франсуа молчал.

— Ей нельзя сейчас вернуться в Россию, — сказал он, наконец. Катя работала, опустив голову.

— Она тоскует, — сказала мать, — она ведь не любит тебя.

— Русские всегда тоскуют без родины, — сказал отец. Катя посмотрела на Франсуа, тот улыбнулся ей ласково.

— Что ты сказал своей невесте? — спросила мать.

— Я пожелал ей счастья.

Отец курил трубку, следил за Катиными движениями.

— Хорошая девушка, — вздохнул он, — очень хорошая. Но русские сложно живут.

Катя выпрямилась, поправила волосы и, словно прислушиваясь к чему-то, улыбнулась нежно.

— Знаете, — сказала она, — я сделаю сегодня на ужин картошку по-своему. Можно?

И только Франсуа заметил, что Катя сказала это по-французски. Глаза ее были теплыми, лучистыми, в первый раз тревога оставила Франсуа, — смыслом Катиной жизни стало радостное ожидание.

... По черной извилистой дороге Франсуа вел машину, Катя сидела рядом откинувшись. Была уже весна, весна на юге Франции. Во всю светило солнце, лес сиял свежей листвой, Мелькали деревни с домами из камня, аскетически строгие церкви из камня, кое-где на вершинах холмов видны были таинственные полуразрушенные строения — то, что осталось от средневековых замков.

— Это очень хороший врач, — говорил Франсуа, берет у него лихо спускался на одно ухо, — когда я был маленький — меня к нему возили. У него был сын, мой ровесник, он потом тоже учился на врача... Ты не устала?

— Ты зря волнуешься, — улыбнулась ему Катя, — по-моему, у меня все нормально.

— Но пусть это скажет врач, — Франсуа помолчал. — Я очень боюсь надоедать тебе, Катя... Но мне хочется каждую минуту заботиться о тебе.

— Я знаю, — Катя дотронулась до его руки.

— И когда ты поедешь домой в Россию — я поеду с тобой, можно?

Катя молчала и Франсуа заторопился.

— Ничего сейчас не говори. Сейчас главное — хороший врач. Все остальное будет потом.

Они миновали спокойное горное озеро, поднялись еще выше и внизу открылся вид на уютную зеленую долину. Паслись овцы, кое-где по склонам вверх поднимались виноградники.

— Тут делают очень вкусное вино, — сказал Франсуа. — Уже скоро. Мы почти приехали.

Дорога еще увела вверх, Катя залюбовалась чудесным видом, открывшимся внизу, и не заметила, что машина неожиданно остановилась.

— Я что-то не узнаю этого места, — сказал Франсуа растерянно.

Он вышел из машины, помог выйти Кате, и она пошла рядом навстречу чему-то такому, что наполнило их сердца предчувствием беды. Перед ними, уходя вдаль, лежали черные руины.

Когда-то это было сельской улицей, и дорога продолжала свое привычное дело — вела путников вперед. Но некуда было здесь идти — по обе стороны ее лежали груды черных обожженных камней. Пахло старым дымом, и видно было, что еще много лет не выветрится этот запах — след чудовищного, убийственного пожара.

— Вы куда, месье? — какие-то люди разгребали пепелище. — Здесь никого нет.

— Здесь жил врач, — сказал Франсуа.

— А... — подошедший закурил, рассматривая их, — вы, видно, не слышали... Эту деревню фашисты сожгли. Всю до тла. Все погибли. Только один спасся — мальчик. Мужчин вначале замучили. Хотели узнать, где партизаны. Женщин и детей согнали в церковь — там сожгли... Такой огонь был. Камни еще теплые...

Он посмотрел на Катин живот.

— И доктор погиб и сын его. Мадам! — крикнул он Кате, — куда вы? Это так страшно!

А Катя шла по дороге все быстрее и быстрее, будто кто ждал ее, Франсуа едва успевал за ней.

Шла высокая худая женщина с большим животом, со скорбными ввалившимися глазами, а под ее ногами, из глубины земли поднимался стон великой человеческой муки. Он охватывал все вокруг: горы, небо, от него дрожал воздух, и Катя не заметила, что и сама она кричит от бессилия перед этим огромным страданием.

Франсуа попытался остановить ее:

— Катя! — крикнул он. — Я так люблю тебя, Катя!

Но Катя остановилась только перед развалинами церкви. Она наклонилась, потрогала камни рукой.

— Теплые, — прошептала она. — Деточки мои родные... Как же страшно вам было! Господи! — крикнула она в небо, — оглянись же наконец на всех нас, спаси нас от самих себя!

От пронзительной боли внизу живота она опустилась на землю.

Чтобы помочь ей подошли люди, сняли теплые куртки, разорвали рубашки. И заплакал новый человек земли, вздохнув первый раз, втянул горький этот воздух маленькими легкими — и начал жить. Своим кри-

ком успокоил он усопших, а живые оглянулись и увидели — на земле была весна.

...На небольшой станции сошедшие с поезда ожидали пригородного автобуса. Было лето, среди ожидавших многие возвращались с рынка, прямо на земле стояли пустые корзины и бидоны. Южный говор, громкий и певучий, ловкое, не мешающее беседе, лузганье семечек — в общем, простые отношения людей, которые давно и хорошо знают друг друга. Только двое были явными чужаками — мать и дочь, женщина средних лет и девушка лет восемнадцати. На них поглядывали с любопытством. Отличались они одеждой, простой и ловко сидящей, невиданными чемоданами, сумками нездешнего покроя, тщательными прическами, а главное — выражением лиц. Особенно выделялась девушка, похожая на диковинную изящную птицу.

Парень, в накинутом на плечи пиджаке, с расстегнутым воротом рубашки, пристально и долго рассматривал эту девушку. Был он не без причины весел и смел, и, наконец, подошел знакомиться.

— Что вы такая грустная сидите? — он подсел рядом. — Хотите газировки выпить? Могу устроить.

Девушка открыто и приветливо глянула на парня и промолчала.

— Говорить не хотите? А зря... Хоть как зовут скажите.

Женщина остановила его без улыбки.

— Не лезь к ней, хлопчик. Она по-вашему не понимает.

— Как? — не понял парень.

— А так, мы с Парижу.

— Извините, — парень кашлянул в кулак и ушел.

Началась посадка в автобус. Давка и толкотня были привычными, даже веселыми, но мать и дочь смотрели растерянно, стояли в стороне.

И вдруг опять подошел тот парень и, опять кашлянув в кулак, предложил:

— Пойдемте, я вас посажу в автобус, а то останетесь и простоите... У нас так.

Они пошли следом, а он, расталкивая толпящихся чемоданами, покрикивал:

— А ну, пропустите! Да не давите так! Люди из Франции приехали, что они об вас подумают?

Это действовало, удивлялись и пропускали. И какая-то очень толстая женщина с корзинкой сказала:

— Да это вроде Катька Назаренкова...

Мимо окон бежали узнаваемые и совсем забытые Катей места, дочка тоже не отрывалась от окна, ей была интересна никогда не виданная жизнь. Парень в пиджаке не отходил, стоял рядом.

— Доставлю вас до места, — обещал он Кате и, наклонившись к ее уху, спросил, — А как ее все-таки звать?

— Мари, — улыбнулась Катя.

— Красивое имя, — кивнул уважительно парень.

Автобус трясло и подбрасывало, из нестройной разноголосицы Катя вдруг выделила глуховатый старческий голос:

— Хорошо, что деньги-то взяли, а партбилет-то постеснялись и на почту подкинули. Сейчас вот из райкома еду — обратно получил.

— Слава Богу, — толстая тетка с корзиной вздохнула.

Катя обернулась и сейчас же узнала в сидящем сзади старике того, кто увозил когда-то отца и мать, и кого потом она видела с окровавленными от собачьих укусов руками.

Старик обрадовался ее интересу, наклонился вперед:

— Ехал к дочке, да задремал на станции. Бумажник-то и выгащили. Спасибо, партбилет не потерялся.

Ему мешали вставные зубы, когда он говорил, он придерживал их и поправлял языком.

— Вы если что, — наклонился к Кате парень, — в милицию обращайтесь, у меня там батя работает. Андрей Иванович. Прямо к нему.

Мари засмеялась чему-то, что-то сказала матери. Глядя на нее засмеялся и парень.

— Вы, мамаша, переведите ей, что рад был познакомиться.

...Они сидели за столом, как когда-то в детстве — старшая Катя и напротив нее меньшие — Степка и Настя.

— Ты ешь, — уговаривала ее Настя, худенькая и пожилая на вид, — ты чего не ешь-то? У нас все есть, сыты, одеты... Ты ешь...

Катя кивала, слезы не давали ей говорить.

Степан, полный и лысый, постукивал ладонью по столу.

— Значит, не работаешь. На обеспечении мужа находишься. Так, так... Он у тебя кто по специальности?

— Электромонтер.

— И сколько во Франции электромонтеры получают?

— Хорошо получают.

Степан налил себе из бутылки.

— Да... А у меня вот карьера накрылась... Мог по военной части пойти, но после той нашей встречи в Берлине... Еще спасибо, самого не посадили.

— Да чего теперь вспоминать, — заспешила Настя, — ведь уж разобрались с теми делами. Ошибались, что всех за изменников родины принимали, вот и понаделали делов.

Катя проглотила комок.

— Там Сашка убили, помнишь?

Степан налил себе еще, сказал солидно:

— Ну, с ним-то следовало разобраться, с ним все не так просто было.

А Настя все просила жалобно:

— Ты ешь, ешь.

Вошла с улицы Мари, присела к столу, улыбнулась всем.

— Худенькая какая, — сказала Настя ласково.

Степан покачал головой.

— Видать, она у тебя в отца пошла?

— В отца... — кивнула Катя,

— Сразу видна нерусская кость... Ишь ты, француженка. Имя-то какое придумали — Мари.

— Маму нашу, Степочка, похоже звали, — слабенько возразила Настя.

— Не-ет, ты не сравнивай. Мать у нас Мария была. Разница, — он пристукнул ладонью по столу. — Все-таки это плохо, что ты в чужой стране живешь, сестра. Не по-нашему это.

Катя встала, подошла к чемоданам.

— Где ж домашние ваши? Не придут? Я подарки всем привезла.

— Да еще успеешь, познакомишься. Не на один день приехали, — Настя прятала глаза. — Отдохни с дороги.

— Тогда пойдем погуляем, — сказала Катя.

Они шли селом, многие, встречая их, провожали взглядом, приложив руку козырьком к глазам, стараясь узнать в этой женщине с красиво убранной головой Катю Назаренко. Мари такого интереса не вызывала, уж очень она была нездешней.

— Вот тут наша хатка стояла, — остановилась Катя, — мы все вместе тут жили, с мамой и батьком...

— Гляди-ко, помнишь, — удивилась Настя. — А школа у нас новая, старую немцы сожгли.

Поднялись по дороге вверх, к церкви. Катя подошла, остановилась, взялась за горло, Мари спросила о чем-то ее.

— Спрашивает, почему замок на двери, — перевела Катя.

— Там, деточка, картофелехранилище, вот и запирают.

Катя перевела Настины слова. Мари взбежала по каменным ступеням, попыталась заглянуть в замочную скважину. И сейчас же откуда-то появился солидный мужчина в милицейской форме.

— Простите, граждане, вас что интересует?

Катя вдруг засмеялась.

— Здравствуй, Андрей-воробей.

— Не понял, — покраснел тот.

Настя загородила сестру.

— Да это девочка, Андрей Иванович, поинтересовалась, что там внутри... в церкви-то.

— Картошка, — важно сказал Андрей Иванович.

— Я тоже говорю — картошка, де ведь молодым все интересно.

Мари повернулась к ним, солнце било ей в лицо и Кате вдруг показалось, что это Сашок стоит там, у дверей, тот молоденький, который стоял с винтовкой возле мертвой матери.

— Вы уж простите, Андрей Иваныч, — сказала она, — место такое здесь памятное... Я его двадцать лет во сне вижу.

Катя поклонилась каменным стертým ступеням и пошла дальше по дороге. Мужчина смотрел ей вслед.

Настя поспешила за ней.

— Он ведь приходил к нам, бумаги какие-то заполнял, спрашивал, добровольно ты за границу уехала или как. Степан-то и испугался... Ты уж не серчай. Конечно, время теперь другое, да ведь уж привыкли опасаться, так всего и опасаться.

Дорога пошла полем.

— Мари, нарви цветов, — по-русски сказала Катя.

Девушка стала собирать букет.

— Гляди, поняла! — обрадовалась Настя.

— Она и говорит немного, да стесняется, что плохо.

Дорога уперлась в пологий склон, и прямо перед Катей встал небольшой обелиск.

Катя глянула вниз. На дне оврага буйно росла трава.

— Здравствуй, дядечко Наум, — поклонилась той траве Катя, — Здравствуйте, тетя Рива, Розочка, — и взяв у дочки цветы бросила их вниз.

Постояли молча. Было тихо и не верилось, что когда-то здесь мужчины убивали ни в чем не повинных женщин, детей, стариков.

— А сараи вон там были, помнишь? — показала Настя, — Я тогда напугалась, как махну полем домой. Оглянулась, а тебя не видать. Только сараи горят. Так и потерялись,

— Да, — сказала Катя, — я все думала потом — спаслась ты или нет. Помню, батя мне крикнул: живите на свете долго. Я и берегла вас.

Они возвращались в село. Катя разулась и шла, чувствуя под ногами такую незабываемо-знакомую, теплую от солнца дорогу. И Мари, глядя на мать, тоже скинула свои босоножки и закужилась от счастья: солнце, тишина, высокое небо и легкий ветерок.

— А на кого-то она смахивает, — сказала Настя, приглядываясь к девушке. — Вспомнить не могу, а здорово на кого-то из знакомых похожа... Неподражаемый родной простор расплывался в Катиных глазах.

ЭПИЛОГ

Поезд медленно подходил к перрону. Это был парижский Северный вокзал, сумеречный и оживленный. Под навесом сновали тележки с багажом, что-то объявляли, что-то продавали — то бутерброды, то бутылочку с питьем, то игрушки.

Катя и Мари сходили по ступеням вагона. Седой Франсуа махал им рукой. Он обнял жену и дочь, Мари тут же начала рассказывать ему что-то смешное, тормошила, мешала грузить вещи на тележку.

— Мари! — позвали ее.

— Жан-Пьер! — ахнула девушка и бросилась к парню с прямыми светлыми волосами и бородкой.

Они обнялись и пошли, оживленно обсуждая что-то. Катя и Франсуа смотрели им вслед.

— Все хорошо? — по-русски спросил Франсуа.

— Все хорошо, — улыбнулась мужу Катя и подарила маленький увядший букетик полевых цветов. — Это тебе. Чувствуешь, как пахнет?

Вместе везя тележку с багажом, они вышли на улицу, и Париж, яркий и шумный, встретил Катю Назаренко.